

Владимир Порудоминский

ИСТОРИЯ СМЕШНАЯ И ГРУСТНАЯ, нелепая, может быть, мистическая. Она началась в двухместном купе скорого поезда – с поэтом Валентином Берестовым мы возвращались из Крыма: выступали перед юными читателями в пионерском лагере "Артек". В Москве, судя по сводкам погоды, нас ждала уже полновесная осень, Крым одарил десятками днями ласкового солнца, тёплым морем, белыми прогулочными теплоходами, охристыми виноградниками на склонах гор; неторопливыми вечерними променадами по ялтинской набережной, где то и дело попадался навстречу кто-нибудь из московских знакомых: сухим вином и чебуреками в не слишком опрятных закусовых Гурзуфа и Симеиза. Душа расправилась, не была обременена заботами и тревогами, которые мы, оберегая последние часы душевной свободы, почти бессознательно отодвигали до прибытия в столицу, – в вагоне бесечно беседовали, вспоминая разные занятные происшествия, шутили и смеялись.

Незадолго перед тем у Валентина Берестова вышла книжка: не стихи – повести, про археологию и археологов ("Два огня" – так, кажется, она называлась); он окончил исторический факультет, ездил в экспедиции. В отрочестве Берестов показал свои первые поэтические опыты Корнею Ивановичу Чуковскому, тот признал мальчика очень талантливым, ввёл в круг лучших наших писателей. Берестову повезло с юных лет беседовать с Анной Андреевной Ахматовой и Надеждой Яковлевной Мандельштам, с Алексеем Толстым и Самуилом Маршак, Михаилом Светловым и Ираклием Андрониковым. Тогда, в поезде, Валя пожаловал мне свою книгу, а заодно поведал, как сделался археологом. Собирался он, понятно, в Литературный, и ни у кого из его знаменитых старших приятелей не возникало сомнения, что только туда ему и дорога. Но однажды на каком-то обеде или ужине у Алексея Толстого к юноше стал внимательно приглядываться известный медик, академик Сперанский (их было два – педиатр и патофизиолог, не помню, какой из них). "Я был неопытен, – рассказывал Валя, – мне льстило, когда в обществе известнейших литераторов меня просили почитать стихи, изобразить кого-нибудь (Берестов хорошо передавал голос и манеры других людей). Вот и в тот вечер я читал, изображал и радовался успеху. Но академик Сперанский увидел происходящее иными глазами. Улучив минуту, он отозвал меня в сторонку и доверительно сказал: "Молодой человек, вас здесь выпьют с чаем". И хотя все ко мне от-

носились уважительно, более того, любовно, я, слушая Сперанского, вдруг вспомнил мальчика Паву из чеховского "Ионыча". Помнишь, когда собирались гости, ему говорили: "Пава, изобрази!" И я поступил на исторический".

Позже я не раз слышал от Берестова ещё одну занимательную новеллу – то ли действительный случай, то ли сочинил себе и другим в назидание. Однажды в каком-то журнале, проглядывая от нечего делать ответы на кроссворд, помещённый в предыдущем номере, он под одним из чисел обнаружил: "Берестов". Ого! Кроссворд в издании, выходящем многотысячным тиражом, это, наверно, уже – слава! Тот-

час поспешил в библиотеку – заглянуть в предыдущий номер. Как там сформулировано: "Современный поэт", или "Известный поэт", или, может быть, что-нибудь ещё более лестное? Но в журнале под названным числом значилось: "Персонаж повести Пушкина "Барышня-крестьянка". "Прекрасная пилуля от зазнайства!" – заключил новеллу Валентин Берестов.

НО СВОИ СТИХИ ОН ВСЕГДА ЧИТАЛ охотно. И тогда, в поезде, – за окном уже стемнело, только узкая палевая полоска помогала отделить землю от неба, – мы не зажигали света: Валя читал и читал, его стихи всегда радовали

меня открытым видением мира, лёгким дыханием, доброй улыбкой, которая с годами обретала мудрость, но при том умела оставаться детской. В какой-то момент он надолго замолчал, словно припоминая что-то важное, что непременно следует ещё прочитать, – в тишине явственно слышно было, как стучат колёса, как на купейном столике звенят ложечки в опустевших чайных стаканах, время от времени в окно врывался пунктирно разорванный свет фонарей на станциях и разъездах, которые мы проезжали. В темноте круглое мягкое лицо Берестова казалось ещё бледнее, чем обычно. "Ну вот, напоследок, совсем недавнее", –

случайный романс

Я поле жизни
перешёл,
и дальше
нет пути



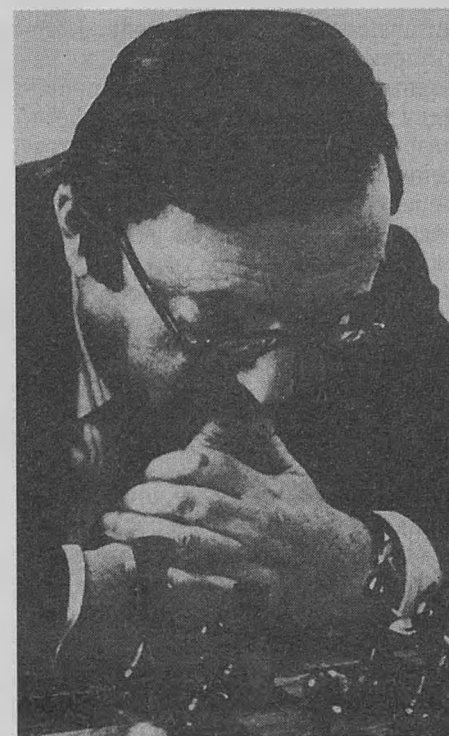
Валентин Берестов

проговорил он наконец. Прочитанные им восемь строк поразили меня настроением, глубиной, точностью, – я запомнил их сразу и навсегда.

*Я поле жизни переиёл
И отдохнуть присел.
Там одуванчик тихо цвёл,
И жаворонок пел.
И так мне было хорошо,
Что я забыл почти,
Что поле жизни перешёл
И дальше нет пути.*

"Напиши мне эти стихи", – попросил я. И Берестов записал восемь строк на обороте обложки подаренной перед тем книги.

ПРОШЛО НЕСКОЛЬКО, НЕТ, НЕ ЛЕТ – десятилетий. Стихи жили в моей памяти, я нередко повторял их. Однажды уже в 1990-х, при встрече, почти случайно, Валентин Берестов сказал мне, что собирает двухтомник. "А моё любимое там будет?" – спросил я. "Это какое же?" Я прочитал ему восемь строчек. "Какие хорошие стихи! – воскликнул Валя с той простодушной радостью, с какой часто говорил о своей работе. – Подумай, а я совершенно позабыл их". Он вдруг озаболел: "Автограф у тебя сохранился?" – "А как же. Подписанный. Могу предъявить". На другое утро он долго рассматривал автограф, несколько раз, вслух и про себя, повторил стихи, пожелал было переделать две последние строчки, я просил его оставить как есть. В "Книжном обозрении" вместе с объявлением об издании собрания сочинений Валентина Берестова были напечатаны стихи из будущей книги, среди них – и восемь строк, мне посвящённые, что, признаюсь, очень меня обрадовало. А



Евгений Храмов

потом Валя умер. Не скажешь – неожиданно: он многие годы недомогал сердцем, но для всех нас – нежданно.

СОБРАНИЕ СТИХОТВОРЕНИЙ ВАЛЕНТИНА Берестова увидело свет уже после смерти автора. Об этом мне сообщил по телефону другой хороший поэт – Евгений Храмов. С Женей мы были давними добрыми приятелями. Вдобавок и жили по соседству: по несколько раз на дню я пробегал мимо его подъезда, отмеченного тёмно-серой мемориальной доской с портретом знаменитого популярного радиста Эрнста Кренкеля. Люсю Кренкель, дочь прославленного популярника и жену поэта Храмова, я знал с детства, помнил ещё в дошкольную пору, когда она в прозрачной тунике, то ли лиловой, то ли малахитово-зелёной, танцевала с другими девочками-босиком из студии Айседоры Дункан на сцене нашего домового клуба и казалась мне ужасно взрослой. Женя, большой, полный, несуетливый, на людях держал себя вальяжно, барственно – эта маска баловня, бонвивана, позволяющего себе поступать так, как он пожелает, а не так, как от него требуют, помогала ему сохранять достоинство в трудное время почти повседневной необходимости нравственного выбора. Он был замечательно образован, подвижен умом и словом, беседа с ним приносила удовлетворение взятым духовным уровнем и оставляла ощущение душевной радости. Мы не раз путешествовали вместе – пушкинское Болдино, Спасское-Лутовиново, Северный Кавказ, места сибирской декабристской ссылки. В гостиничном номере он умел часами – вроде бы беспечное *фар ниенте* – валяться на кровати,

поверх одеяла, вполне одетый – совсем не новый, но всегда презентабельно выглядевший тёмный костюм, неизменно белая рубашка и галстук: расположив на груди небольшую дорожную шахматную доску (он был отличный шахматист), Женя исследовал расставленную позицию и одновременно беседовал о литературе, истории, политике, читал стихи, свои и чужие. Он ценил творческие удач других поэтов (даже тех, кого не жаловал лично), говорил о таких удачах взволнованно, искренно восхищался ими; благодаря ему мне много прекрасного открылось в стихах современных поэтов.

Женя Храмов позвонил и сказал: "Прости, но я вынужден отобрать у тебя стихи, тебе посвящённые. Дело в том, что восемь строк про поле жизни написал не Валентин Берестов, а я". Стихотворение много лет назад было опубликовано в каком-то периодическом издании, позже напечатано в одном из поэтических сборников Евгения Храмова. Он даже попенял мне за то, что я не заметил стихотворения в книге, им подаренной. А я и вправду не заметил – наверно, потому, что с того давнего вечера в вагоне крымского поезда это были для меня – берестовские стихи. Так же, как для самого Берестова. Мог ли он сам напечатать их в газете и поместить в собрании сочинений, если бы хоть на минуту усомнился в этом? Высочайшие нравственные достоинства Валентина Берестова всем хорошо известны. Валентин Берестов присвоил себе восемь храмовских строк, присвоил в том смысле, что, прочитав однажды где-то, тотчас, неосознанно, почувствовал их своими, вобрал душой, памятью, постоянно носил в себе, свикся с ними. Произошло поразительное – полное! – совпадение мысли, настроения, образной системы двух поэтов. Валя полнился стихами, чужие восемь строк оказались захвачены этим постоянным движением творческой стихии.

Позже всё, видимо, как-то упорядочилось: Валя отстранился, отвык от стихотворения про поле жизни, исключил его из числа своих сочинений, попросту забыл. Но тут оказался я, да ещё с автографом, и убедил его – моя вина. Кажется, Евгений Храмов вёл переговоры с наследниками Берестова, просил опубликовать поправку. Но скоро и Женя умер – совсем нежданно.

Композитор Иван Соколов, хорошо знакомый и с Берестовым, и с Храмовым, положил любимые мной восемь строк на музыку. Музыка печальная, чистая, светлая: слушая тихое дыхание одуванчика и песнь жаворонка в вышине, хорошо вспоминать прошлое, думать о будущем, беседовать с друзьями, теми, кто уже перешёл поле жизни, и теми, кто ещё бредёт по нему, – первых, увы, уже куда больше, чем вторых...